

Джованни Казанова

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 11



История Жака Казановы

Джованни Казанова

**История Жака Казановы
де Сейнгальт. Том 11**

«Автор»

Казанова Д. Д.

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 11 / Д. Д. Казанова — «Автор», — (История Жака Казановы)

«Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски. Мы снова идем танцевать, пока, наконец, не поступает разрешение танцевать фанданго, и вот мы с моей rareja – партнершей, которая танцует его замечательно, и удивлена тем, что столь хорошо ведома иностранцем. В конце этого танца, полного соблазна, который зажег нас обоих, я отвожу ее в место, где подают освежительные напитки, спрашиваю, довольна ли она, и говорю, что настолько влюблен в нее, что умру, если она не найдет способ осчастливить меня и не сообщит его мне, заверив, что я человек, готовый на любой риск...»

© Казанова Д. Д.

© Автор

Содержание

Глава I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Джованни Казанова
История Жака Казановы де Сейнгальт,
венецианца, написанная им самим
в замке Дукс, Богемия, том 11

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава I

1768 год. Мои амурсы с донной Игнасией, дочерью сапожника-джентльмена. Мое заключение в тюрьму Буон Ретиро и мой триумф. Я рекомендован послу Венеции Государственным Инквизитором Республики.

Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски. Мы снова идем танцевать, пока, наконец, не поступает разрешение танцевать фанданго, и вот мы с моей *pareja* – партнершей, которая танцует его замечательно, и удивлена тем, что столь хорошо ведома иностранцем. В конце этого танца, полного соблазна, который зажег нас обоих, я отвожу ее в место, где подают освежительные напитки, спрашиваю, довольна ли она, и говорю, что настолько влюблен в нее, что умру, если она не найдет способ осчастливить меня и не сообщит его мне, заверив, что я человек, готовый на любой риск. Она отвечает мне, что не может и думать о том, чтобы осчастливить меня, без того, чтобы не быть осчастливленной самой, и что она напишет мне, как это зависит от меня, в письме, которое зашьет между тканью и подкладкой капюшона домино, и что я должен, соответственно отложить посылать человека за ним до завтра. Сказав, что я готов на все, я отвожу ее на выход и иду вместе с ней к коляске, которую оставил за площадью. Мы садимся в коляску, мать просыпается, кучер трогает, я беру ее за две руки, всего лишь с желанием их поцеловать, но она, вообразив, что я собираюсь предпринять что-то, что ей кажется чрезмерным, сжимает мои руки с такой силой, что я напрасно бы попытался их освободить, если бы что-то и задумал сделать. Держа таким образом меня за руки, она отчитывается перед матерью обо всех удовольствиях, которые доставил ей бал; она отпускает мои руки, только когда, завернув на улицу «Дель Десиньяно», мать говорит кучеру остановиться, потому что она не хочет дать повод соседям позлословить, высаживаясь у своей двери. Она просит меня не выходить из коляски и, поблагодарив, они идут к своему дому пешком. Я же направляюсь к себе и ложусь в кровать.

Назавтра я направляю человека забрать домино и нахожу в нем письмо донны Игнасии, в том месте, которое она мне назвала. В этом письме, очень коротком, она говорит, что некий дон Франсиско де Рамос заявится ко мне, что это ее любовник, и что от него я узнаю способ сделать ее счастливой, потому что мое счастье может исполниться только в связи с ее счастьем. Дон Франсиско не замедлил явиться. Мой паж объявил мне о нем на следующий день в восемь часов утра. Он сказал мне, что донна Игнасия, с которой он разговаривает каждую ночь, находясь на улице, а она – в своем окне, поведала ему, что была на балу со мной и с матерью, и, будучи уверена, что я не могу испытывать к ней иных чувств, кроме отцовских, убедила его представиться мне, заверив, что я отнесусь к нему как к сыну. Она убедила его открыться мне и попросить у меня одолжить ему сто дублонов, с которыми он сможет жениться на ней еще до окончания карнавала. Он сказал мне, что он служит в монетном дворе, и что его жалование, сейчас слишком маленькое, станет впоследствии больше, что его отец и мать живут в Толедо, что он будет в Мадриде жить один, со своей дорогой женой, и что у него не будет другого друга, кроме меня, разумеется, и не воображая себе, что у меня может быть к донне Игнасии другое отношение, кроме как у отца к дочери. Я ответил ему, что он отдает мне справедливость, но что в настоящий момент у меня нет ста дублонов, и что я даже не знаю, через сколько времени у меня появятся такая сумма. Я заверил его в моей скромности, сказав, что он доста-

вит мне удовольствие всякий раз, как удостоит меня своим визитом, и увидел, что он ушел, весьма огорченный. Это был мальчик, на вид двадцати двух лет, некрасивый и дурно сложенный. Не заинтересовавшись этим приключением, потому что я чувствовал к донне Игнасии лишь мимолетное влечение, я направился с визитом к Пишоне, которая так любезно пригласила меня заходить к ней всякий раз, когда я бываю на балу. Я расспросил об этой женщине. Я узнал, что она была комедиантка и что удача к ней пришла из-за герцога Медина Сели, который, зайдя к ней как-то с визитом в очень холодный день, нашел, что у нее нет печки, потому что у нее нет денег, чтобы покупать уголь. Этот герцог, человек богатейший, устыдившись, что ходит с визитом к женщине столь бедной, отправил ей на другой день печку, наполненную деньгами, что составило сто тысяч *pezzos duros*¹ золотом, или пятьдесят тысяч цехинов. Так, с этого времени она живет очень свободно и принимает в своем доме добрую компанию.

Я иду к ней, она принимает меня очень хорошо, но я вижу, что она очень грустна. Я говорю ей, что заходил к ней в ложу и не нашел ее там. Она ответила, что в этот день умер герцог Медина Сели, после трех дней болезни, и поскольку это был ее единственный друг, у нее не было сил выходить.

– Он был очень стар?

– Нет, шестидесяти лет. Вы его видели. Он не выглядел на свои годы.

– Где я его видел?

– Разве не он вас привел в мою ложу?

– Ах, это он? Он не назвал мне свое имя. Я тогда видел его в первый раз.

Эта смерть меня поразила. Все его состояние переходило к его сыну, который, как обычно, был очень скуп. Но этот скупой сын имел, в свою очередь, очень щедрого сына.

Это то, что я наблюдаю повсюду и всегда. Сын скупца щедр, сын расточителя скуп. Мне кажется естественным, что души отца и сына находятся все время между собой в постоянном противоречии. Один автор, человек умный, ищет причину, почему обычно отец любит своего внука значительно сильнее, чем сына: он полагает, что это заложено в природе. Естественно, – говорит он, – что человек любит врага своего врага. Мне это соображение, взятое вообще, кажется диким, потому что, начиная с меня, я нахожу, что сын любит своего отца. Я добавлю, однако, что любовь отца к сыну бесконечно сильнее, чем любовь сына к отцу. Мне говорили, что дом Медина Сели имеет тридцать шляп, что означает наличие тридцати испанских грандов².

Ко мне поднялся молодой человек, завсегда у кафе, куда я никогда не заходил, с довольно свободным видом, чтобы предложить мне свои услуги в области, новой для меня, но которую он знал очень хорошо.

– Я, – сказал он мне, – граф Мараззани де Плезанс, я небогат, я приехал в Мадрид в поисках фортуны; я надеюсь поступить в личную гвардию Е.В. Я жду уже год, а пока я развлекаюсь. Я увидел вас на балу с красоткой, которую никто не знает. Я не хочу знать, кто она, но если вам нравятся перемены, я могу познакомить вас в Мадриде со всем, что тут есть самого изысканного.

На это предложение, если бы я был разумен, я должен был бы ответить этому наглецу самым холодным образом; но я не повел себя разумным образом; мое сердце было невыносимо пустым; мне необходима была, как бывало и неоднократно, милая страстишка. Я оказал добрый прием этому Меркурию, я побудил его показать мне красоток, достойных внимания, исключив из них как тех, доступ к которым слишком легок, так и тех, к кому он чересчур труден, потому что не хотел заводить дел в Испании. *Nolo nimis jacilem, difficilemque nimis*³. Он ска-

¹ песо дуру – испанская монета

² привилегия испанских грандов оставаться в шляпе в присутствии короля

³ Я не люблю ни слишком трудных, ни слишком легких. Марциал

зал идти с ним на бал, и пообещал, что мне достанутся все те, кто меня заинтересует, несмотря на известных любовников, которых они могут иметь. Бал давался в тот же день, я сказал, что пойду вместе с ним; он сказал, что хочет пообедать, я хотел того тоже. После обеда он сказал, что у него нет денег, и я дал ему два *песо дура* и оплатил вход в бальный зал. Этот человек, очень дерзкий, некрасивый и кривой, провел со мной всю ночь, указав на пятнадцать-двадцать красоток и рассказав историю каждой. Он показал мне одну, которая мне понравилась, и с которой он пообещал дать мне насладиться в доме одной сводни, которую он знал и куда пообещал ее привести; и он сдержал слово, но заставил меня потратить много денег, и, поразмыслив, я счел удовольствие слишком малым. Я испытывал потребность в любви и не находил объекта, способного меня увлечь.

К концу карнавала дон Диего, холодный сапожник, отец донны Играсии, принес мне мои башмаки и комплименты своей жены и своей дочери, которые говорили все время об удовольствии, которое они получили от бала, расхваливая мое отношение к донне Игнасии. Я сказал, что она девушка столь же уважаемая, сколь и красивая, которая заслуживает большой судьбы, и что если я не делаю к ним визиты, то лишь потому, что опасаясь нанести ущерб ее репутации. Он ответил, что ее репутация выше злословия, и что он сочтет себя польщенным всякий раз, когда я буду приходить к ним. Это на меня подействовало; я сказал, что карнавал кончается, и если донна Игнасия хочет, я еще раз отведу ее на бал; он сказал, чтобы за ответом я приходил к нему. Сам интересуюсь посмотреть на поведение этой юной богомолки, которая хотела подать мне надежду на все после своего замужества, заставив заплатить авансом непомерную сумму, я явился туда в тот же день и увидел ее, с четками в руках, вместе с матерью, в то время как ее отец ремонтировал старые башмаки. Я посмеялся про себя, что должен давать название «дон» *холодному сапожнику*, который не хочет быть просто *сапожником*, потому что он *идальго*. Донна Игнасия учтиво встает с пола, на котором она сидит на скрещенных ногах, как это делают африканцы. Эта мода еще сохранилась от мавританских обычаев старой Испании. Я наблюдал в Мадриде женщин из общества, даже при дворе, держащихся подобным образом на паркете прихожей принцессы д'Астуриас. Они держались, так сидя, в церкви, и с удивительной ловкостью переходят из сидячего положения на колени и встают в мгновение ока.

Донна Игнасия, поблагодарив меня за честь, что я ей оказываю, говорит, что без меня она никогда не увидела бы бал, и что она не надеется увидеть его еще раз, потому что уверена, что за четыре недели я наверняка найду объект, достойный моего внимания. Я отвечаю ей, что не нашел объекта, который был бы достоин того, чтобы предпочесть его ей, и что если она хочет вернуться на бал, я послужу ей снова с наибольшим удовольствием. Ее мать и отец довольны, мы говорим о домино, она говорит мне, что ее мать сама пойдет подыскать ей такое, я даю ей дублон, она тут же уходит за ним, потому что бал дают в тот же день; когда дон Диего выходит на какое-то время, я остаюсь наедине с девицей, которой говорю, что только от нее зависит завладеть мной, потому что я ее обожаю, но что она меня никогда больше не увидит, если думает лишь заставить меня повздыхать.

– Чего вы можете хотеть от меня, что я могу вам дать, будучи обязанной сохранять невинность для того, кто должен стать моим мужем?

– Вы должны отдаться моим порывам, не оказывая мне никакого сопротивления, и будьте уверены, что я буду уважать вашу невинность.

Я атакую ее, с вежливостью и нежностью, но она защищается с силой, с видом серьезным и весьма импозантным. Я оставляю ее, заверив, что она найдет меня всю ночь покорным и уважительным, но не нежным и влюбленным, что было бы для нас значительно лучше. Она отвечает, покраснев как пион, что ее долг обязывает ее противиться моей дерзости, вопреки ей самой. Эта метафизика испанской богомолки нравится мне чрезвычайно; речь идет о том, чтобы победить долг, сведя его к нулю, и тогда она заявляет, что согласна. Следует заставить ее рассуждать и сразу увести ее от мысли, что я вижу, что она затрудняется с ответом.

– Если ваш долг, – говорю я ей, – заставляет вас отталкивать меня вопреки вам самой, значит, он вас тяготит: он – ваш явный враг. Если он ваш враг, почему вы так цените его, почему вы отдаете ему победу? Друг самому себе, начните с того, что растопчите этот недружественный долг.

– Это невозможно.

– Это очень возможно. Думайте о себе самой; соберитесь с духом и закройте глаза.

– Как сейчас?

– Очень хорошо.

Я атакую ее быстренько в самом слабом месте; но едва я оказываюсь там, как она меня отталкивает, однако, без грубости и с видом, менее серьезным. Она говорит, что я волен ее совратить, но что если я ее люблю, я должен уберечь ее от этого стыда. Я даю ей понять, что умная девочка должна стыдиться, только отдаваясь мужчине, которого не любит; но если она любит его, любовь, взяв все на себя, оправдывает ее во всем.

– Если вы меня не любите, – говорю я, – я в вас ошибся.

– Но что я должна делать, чтобы убедить вас, что если я предоставляю вам делать это, то это по любви, а не из постыдной услужливости?

– Позвольте мне делать все, что я хочу, и мое самолюбие поможет вам заставить меня поверить, что вы меня любите, без того, чтобы напрягаться говорить мне это.

– Согласитесь, что, не имея возможности быть в этом уверенной, я должна отказывать вам во всем.

– Я с этим согласен, но вы найдете меня грустным и холодным.

– Это меня огорчит.

При этих словах мои дерзкие руки двинулись вперед, ее допустили мои туда, где те хотели, и удовольствие с моей стороны получило завершение, которому она не противилась никоим образом. Совершенно довольный, потому что для начала я не мог рассчитывать на большее, я развеселился таким образом, каким она меня никогда не видела, и который захватил и ее. Пришла мать с домино и перчатками, я уклонился от того, чтобы взять сдачу с дублона и ушел, с тем, чтобы вернуться затем за ней, как это делал в первый раз. Первый шаг был сделан, донна Игнасия увидела, что ведет себя странно, противясь моим поступкам и не участвуя в разговорах, которые я вел с ней на балу, стараясь представить ей удовольствия, которые ждут нас, если мы будем проводить ночи вместе. Природа и разум, объединившись с самолюбием, доказывали ей, что она должна думать только о том, чтобы сохранить меня, внушив мне постоянство. Она нашла меня на балу совершенно отличным от первого раза, услужливым, нежным, предупредительным, внимательно следящим за ужином, чтобы ей подавали все самое лучшее, что ей нравится. Я заставил ее аплодировать самой себе за то, что она решила уступить. Я наполнил ее карманы сладостями, я положил в свои две бутылки ратафии, которые я отдал ее матери, которая теперь спала в коляске; я попросил ее принять *дублон да охо*, который она отвергла без высокомерия, доверчиво попросив меня только отдать его своему возлюбленному, когда тот придет ко мне с визитом.

– Как мне это проделать, чтобы он не почувствовал себя оскорбленным?

– Скажите, что это в счет тех ста, которые он у вас просил. Он беден, и я уверена, что он сейчас должен быть в отчаянии, не видя меня в окне; он, быть может, проведет всю ночь на улице. Я скажу ему следующей ночью, что пошла с вами на бал, только чтобы доставить удовольствие моему отцу.

Эта девочка, которая, я полагаю, решила мне отдаться, танцевала фанданго столь соблазнительно, что не могла бы обещать мне все это более красноречиво и словами. Какой танец! Он горит, он зажигает, он окрыляет. Несмотря на это, меня хотели уверить, что большая часть испанцев и испанок, танцующая его, не чувствуют его греховности. Я сделал вид, что поверил. Она попросила меня, прежде чем сойти к себе, прийти к мессе послезавтра в восемь часов в

церковь Соледад. Я не сказал ей, что это там я ее увидел в первый раз, принимающей святое причастие. Она попросила меня прийти в тот же день к ней, где она передаст мне письмо, если не сможет остаться наедине со мной. Проспав до полудня, я увидел при своем пробуждении Мараззани, который пришел со мной пообедать. Он наблюдал меня всю ночь на балу и, будучи в маске, видел ужинающим с донной Игнасией. Он сказал мне, что для того, чтобы выяснить, кто эта особа, он безуспешно расспросил всех знающих людей Мадрида, и я спокойно стерпел это весьма нескромное любопытство с его стороны; но когда он сказал, что, будь у него деньги, он отправил бы выследить меня, я поговорил с ним таким образом, что он побледнел. Он сразу попросил у меня прощения, пообещав больше не любопытствовать. Он предложил мне вечерок с опытной и знаменитой галантной дамой по имени Спилетта, которая не продает, однако, своих прелестей по сходной цене, и я отказался. Донна Игнасия заняла меня полностью. Я решил, что она достойна посоперничать с Шарлоттой.

Я пришел в «Соледад» прежде нее; она увидела меня в углу у исповедальни, как только вошла, в компании с той же девушкой, что была с нею в первый раз. Она опустилась на колени в двух шагах от меня; она на меня совсем не смотрела, изучала же меня внимательно ее подруга, которая была весьма некрасива, но того же возраста. Я увидел в церкви донна Франсиско, поэтому я вышел из церкви прежде донны Игнасии. Он обрадовался, увидев меня, и поздравил, с некоторой горечью, с тем, что я имел счастье пойти на бал во второй раз вместе с владычицей его души. Он известил меня, что был всю ночь на нашем свидании, и что он ушел бы с бала достаточно довольным, если бы не увидел нас танцующими фанданго, потому что нашел наш вид слишком напоминающим двух счастливых любовников. Я ответил ему, смеясь, что любовь эта была слишком зрительной, и что как человек умный он должен изгнать из своей души всякие подозрения. В то же время я дал ему, попросив прощения, дублон *да охо* в счет задатка. Он принял, очень удивленный, назвал меня своим отцом, своим ангелом и пообещал вечную благодарность. Он оставил меня, уверившись, что наверняка, как только я смогу, я дам ему всю сумму, которая ему нужна, чтобы жениться на донне Игнасии после Пасхи, потому что карнавал кончается, и в Пост свадьбы запрещены.

К вечеру я пошел к сапожнику, который встретил меня великолепной ратафией, которую я дал донне Антонии, его жене, которая, радуясь за свою дочь, только и говорила о чувстве благодарности, которое испытывает нация перед действиями графа Аранда.

Нет ничего, – говорила донна Антония, – более невинного, чем бал, ничего лучше для здоровья, – и это было запрещено пока этот великий человек не оказался на выдающемся посту, на котором он мог делать все, чего хочет, и несмотря на это его ненавидят за то, что он прогнал *los padres de la compagnie* (иезуитов) и запретил ношение плащей до пят и *los sombreros cachos*⁴. Но бедные его благословляют, потому что все деньги, которые собираются *los scannos del Peral*, идут на бедных.

– Это правда, говорит дон Диего, сапожник, что те, кто ходит на бал, совершают благое дело.

– У меня есть две кузины, – говорит мне донна Игнасия, которые в том, что касается нрава, истые ангелы. Я сказала им, что была на этом балу с вами, и, поскольку они бедные, они не надеются туда пойти; только от вас зависит осчастливить их и пригласить их пойти со мной в последний день карнавала. Их мать позволит им идти, тем более, что бал окончится в полночь, чтобы не захватить святой День поминовения усопших.

– Я готов, добрая донна Игнасия, доставить вам это невинное удовольствие. Мадам поэтому не будет обязана проводить ночь в коляске в ожидании вас.

– Вы очень любезны; но следует знать мою тетю, которая соблюдает религиозные установления скрупулезно. Когда она вас узнает, я уверена, что она не будет против, когда я пред-

⁴ надвинутых сомбреро

ложу ей это развлечение, потому что по вам видно человека мудрого, который не может питать каких-либо дурных намерений относительно ее дочерей. Пойдите туда сегодня; они живут на соседней улице, первая дверь, на которой вы увидите маленькую табличку, в ней написано, что в этом доме поправляют кружева. Принесите их туда в своем кармане и скажите, что это моя мать дала вам их адрес. Завтра утром я сделаю остальное, придя с мессы, и вы придете сюда в полдень, чтобы узнать, как мы сможем все соединиться в последний день карнавала.

Я все сделал согласно инструкции донны Игнасии. Я пошел отнести кружева кузинам, и на другой день моя красотка сказала мне, что все сделано. Я сказал, что все домино будут у меня, что им надо только прийти всем трем ко мне, войдя в заднюю дверь, что мы пообедаем в моей комнате, затем замаскируемся, чтобы идти на бал, и что после бала я всех их верну домой. Я сказал, что одену старшую из кузин в мужчину, потому что она так выглядит, и чтобы ее предупредили; она смеясь мне сказала, что она не будет предупреждать, но что она сделает все, что я ей скажу.

Младшая из этих кузин была некрасива, но имела вид, соответствующий своему полу. Некрасивость старшей была удивительна. Высокая сверх меры, она казалась грубой женщиной, одетым женщиной. Этот контраст меня забавлял, потому что донна Игнасия была красоты совершенной, и совершенно соблазнительна, когда она отбросила к черту свои манеры богомолки.

Я позаботился сложить домино и все необходимое в кабинете около моей комнаты, так, чтобы мой паж ничего не узнал; и во вторник утром я дал ему *песо дура*, чтобы он шел провести последний день карнавала, где ему хочется, сказав лишь, чтобы он был у меня завтра в полдень. Я обеспечил себя башмаками и заказал хороший обед в соседней харчевне и чтобы гарсон этой харчевни меня обслужил. Я также избавился от Мараззани, дав ему денег, чтобы он пошел обедать, куда хочет, и приготовился посмеяться и посмешить донну Игнасию, которая в этот день наверняка должна была стать моей женой, так или иначе. Вечеринка была для меня совершенно новой: три богомолки, две – некрасивые до отвращения, третья – красавица, которую я должен был инициировать, и которая развеселилась и стала послушной.

Они пришли в полдень, и до часу, когда мы сели за стол, я вел с ними только разумные и моральные разговоры с большим количеством ел. У меня было вино из Ламанчи, исключительное, но с силой, равной вину Венгрии. Эти бедные девочки не привыкли проводить за столом два часа и не вставать, пока не насытились. Не привычные к хорошим винам, они не опьянели, но разгорячились и развеселились в высшей степени. Я сказал старшей кузине, которой могло быть лет двадцать пять, что я одену ее сейчас мужчиной, и увидел, что она поражена. Донна Игнасия сказала, что она должна быть счастлива такому развлечению, и младшая кузина, подумав, сказала, что в этом нет греха.

– Если бы в этом был грех, – сказал я ей, – разве бы я вам это предложил?

Донна Игнасия, которая знала Жития наизусть, сказала, что святая Марина провела всю свою жизнь одетой в мужчину, и перед этой эрудицией большая кузина сдалась. Я же воздал самые пышные хвалы ее уму и расположил ее этим поверить, что я ее не обманываю.

Идите за мной, – сказал я ей, – а вы остальные ждите здесь, потому что я хочу насладиться вашим удивлением, когда вы увидите ее превратившейся в мужчину.

Она пошла, сделав над собой усилие и, положив перед ней весь ее мужской наряд, я начал с того что велел ей разуться, надеть белые чулки и башмаки, которые ей лучше подошли. Я сел перед ней, сказав, что она меня смертельно обидит, если заподозрит в неблагородных намерениях, потому что я мог бы быть ей отцом, и невозможно, чтобы я ее обидел. Она отвечала, что она добрая христианка, но не дура. Я сам натянул ей чулки и нацепил подвязки, говоря, что никак не предполагал, что у нее такие красивые ноги и такая белая кожа, и она засмеялась. Польщенная моими похвалами, она не посмела возразить моему намерению восхититься ее ляжками, которых, однако, я не собирался касаться, что ее образумило. Действительно, они

были красивы и восхитительны. Я увидел, что, как и в других случаях, *sublata lucerna nullum discrimen inter ieminas*⁵. Пословица верна в том, что касается материального наслаждения, но ошибочна, и весьма ошибочна, в том, что касается любви. Любя душой, смотрят на лицо; это, быть может, сильнейшее доказательство того, что душа человека отличается от души животного.

Расхвалив прекрасные бедра богомолки, которые я, однако, рассматривал только с деловой точки зрения, я подал ей мои штаны, поднявшись и повернувшись к ней спиной, чтобы предоставить ей полную свободу их надеть и затянуть на поясе. Я не удивился, что они ей хорошо подошли, несмотря на то, что во мне было росту на пять дюймов больше, чем в ней. Формы женщин сильно отличаются от мужских в этой области.

Я подал ей рубашку, оставаясь еще отвернувшись от нее, что ей, возможно, не понравилось, потому что этим я лишил ее комплимента; я заметил потом, что она его заслужила. Она сказала мне, что дело сделано, когда еще не застегнула свой воротничок; у нее была грудь красивая и твердая, она видела, что я на нее люблю, и была мне признательна за то, что хвалю ее, я не проявил бестактности, давая ей понять, что я все видел. Я накинул ей камзол и, оглядев с ног до головы, сказал, что кое-кто, заглянув ей между бедер, мог бы решить, что она скрывает свой пол.

– Позвольте мне, – сказал я, – поправить лучше вашу рубашку в этой области?

– Прошу вас, потому что я никогда не одевалась мужчиной.

Я присел перед ней, стоящей, и расстегнул штаны, чтобы освободить рубашку и собрать ее в сверток там, где у нее ничего не было, и где, будь она мужчиной, у нее должно было что-то быть. Мои глаза теперь могли видеть, но такт требовал принять правила игры. Я сделал это столь быстро, так серьезно и с такой видимостью того, что это все случайно, что большая кузина была бы совершенно права, если бы сочла это дурным, и даже если бы дала мне понять, что она это заметила. Я передал ей ее домино, ее капюшон и ее маску, и представил ее публике. Ее сестра и донна Игнасия сделали ей комплимент: она должна была быть признана мужчиной самыми большими знатоками.

– А вы, – говорю я младшей.

– Иди, – говорит ей старшая, потому что дон Хаиме *el mas onesto de todos los ombres de Espana*⁶.

У меня не было особых дел с этой младшей, поскольку ей нужно было лишь надеть домино, несмотря на это я посоветовал ей сменить чулки, она на это согласилась и, повернувшись к ней спиной, я дал ей возможность проделать это самой. Я не мог надеяться увидеть что-то особенное. Белый платок, которым она прикрывала свою грудь, был немного грязен, я предложил ей белый; она взяла, но захотела забрать грязный и надела мой, опять отвернувшись; я не сожалел об этом. Надев ей маску, я открыл дверь и представил ее. Донна Игнасия, сразу заметив чулки и платок, спросила не я ли ее раздевал и одевал. Она ответила, что я ей не понадобился. От донны Игнасии я опасался услышать злое слово.

Как только она вошла в кабинет, я сделал с ней то, чего она и ждала. Она отдалась с видом, который, казалось, говорил мне, что она отдается только потому, что не может сопротивляться. Приступив, я остановился затем на минуту, чтобы побереечь ее честь; но при возобновлении я увидел, что она родилась для любви: я продержал ее целый час. Она сказала своим кузинам, что должна была зашить весь перед домино.

С заходом солнца мы направились на бал, где в этот особенный день граф д'Аранда дал общее разрешение для фанданго, но толпа была столь велика, что было невозможно найти место, чтобы его танцевать. В десять часов мы поужинали и гуляли до той поры, пока не замол-

⁵ при погашенной лампе все женщины одинаковы

⁶ самый благородный из мужчин Испании

чали два оркестра. Прозвонило полночь, и начался святой пост, оргии должны были уступить ему место.

Отведя девушек ко мне, чтобы они сложили свои домино, мы проводили домой кузин. Донна Игнасия сказала, что хочет выпить кофе, я снова отвел ее к себе, уверенный, что у меня будет несколько полностью свободных часов для нее; очевидно было, что она имеет то же желание. Я оставил ее в моей комнате, чтобы спуститься и сказать гарсону сделать нам кофе, и увидел дона Франсиско, который попросил меня без всяких околичностей оказать милость пригласить его в мою компанию и компанию донны Игнасии, которую он видел поднимающейся со мной в мои апартаменты. Я сумел сдержать свою ярость. Я сказал, что милости прошу, и что я уверен, что его непредвиденный визит доставит наивысшее удовольствие донне Игнасии. Я вхожу перед ним и объявляю красавице о мужчине, делая ему комплимент по поводу удовольствия, которое она должна испытывать, видя его перед собой в такой час. Я готов был поспорить, что ее скрытность будет по меньшей мере равна моей, но не тут то было: в досаде она сказала ему, что не попросила бы кофе, если бы могла подумать, что он окажется там, и назвала его нескромным и плохо воспитанным, что осмелился беспокоить меня в такой час. Я счел своим долгом взять под защиту этого бедного дьявола, который настолько растерялся, что, казалось, сейчас отдаст душу. Я попытался успокоить донну Игнасию, говоря, что вполне естественно, что дон Франсиско оказался в кафе в этот час, в последний день карнавала, что он увидел нас только случайно, и это я попросил его подняться, думая доставить этим ей удовольствие. Она сделала вид, что приняла мои резоны и сама предложила ему садиться, но больше не обращалась к нему ни со словом, говоря только со мной о бале и благодаря за удовольствие, которое я, по ее словам, доставил ее добрым кузинам.

Дон Франсиско, выпив кофе, счел своим долгом откланяться. Я сказал ему, что надеюсь видеться еще с ним во время поста, но донна Игнасия распрощалась лишь легким кивком головы. После ее ухода она грустно сказала мне, что это неприятное происшествие лишило ее удовольствия провести со мной часок, потому что она уверена, что дон Франсиско либо находится в кафе, либо проследит за ней каким-то образом, и что, возмущенная его любопытством, она намерена ему отомстить.

– Отведите меня домой, и если вы меня любите, приходите повидать меня в пост. То, что проделал со мной этот безумный, отольется ему слезами, и может даже быть, что я от него избавлюсь, потому что я терплю его любовь через окно только ради замужества. Вы же понимаете, что я в него не влюблена?

– Очень понимаю, мой прекрасный ангел, и даже убежден в этом. Я вас слишком ценю, чтобы не понимать этого. Вы сделали меня счастливым; я должен полагать себя любимым настолько же, насколько я люблю вас.

Донна Игнасия наскоро дала мне новое доказательство, и я отвел ее домой, заверив, что пока я буду в Мадриде, она останется единственным объектом моих забот.

На следующий день я обедал у Менгса; через день в четыре часа человек скверной внешности подошел ко мне на улице и сказал отойти с ним в галерею, где он имеет кое-что мне сообщить, что меня должно весьма заинтересовать. Я иду туда, и когда он видит, что никто не может нас услышать, он говорит мне, что алькальд Месса должен нанести мне визит в эту ночь вместе со своими сбирами, и он – один из них.

– Он знает, что у вас есть запрещенное оружие под ковром, который покрывает пол вашей комнаты, в углу позади печки, он знает, или полагает, что знает, несколько других вещей о вас, которые позволяют ему заинтересоваться вашей персоной и отвести вас, отобрав ваше запрещенное оружие, в одну из тюрем, которые имеются в его *президио*. Я извещаю вас об этом, потому что считаю вас человеком чести, не созданным для подобных несчастий. Не пренебрегайте моим мнением. Примите сразу свои меры, переселитесь в безопасное место и избавьте себя от этой неприятности.

Я поверил этому человеку, из-за вполне возможного наличия оружия под ковром; я дал ему дублон и, вместо того, чтобы идти к донне Игнасии, вернулся к себе, где достал пистолеты и карабин из укрытия, что у меня было под ковром, и, вооруженный таким образом, укрытый большим манто, пошел к художнику Менгсу, сказав в кафе, чтобы отправили ко мне моего пажа, когда тот появится. В доме Менгса я был спокоен, потому что он принадлежал королю.

Этот художник, человек благородный, честолюбивый, гордый, но мнительный относительно мер своей безопасности в том, что может его скомпрометировать, не отказал мне в убежище на ночь, но сказал, что завтра я должен подыскать себе другое убежище, потому что наверняка то, что произошло со мной, должно иметь своей причиной нечто большее, чем наличие в моей комнате запрещенного оружия, и что, ничего не зная, он не может ни за что отвечать. Он дал мне комнату, мы поужинали вдвоем, разговаривая только об этом событии; я повторял ему все время, что ни в чем не повинен, он же отвечал мне только, что если правда, что все мое преступление состоит только в том, что я храню у себя в комнате оружие, которое я ему отнес, я должен пренебречь словами человека, который принес мне тревожную весть, а не давать ему дублона, я не должен был двигаться из своей комнаты, не должен был уносить оттуда свое оружие, потому что, как человек умный, я должен знать, что любой человек в своей собственной комнате, по естественному праву, может держать хоть пушки. Я ответил ему, что, идя к нему, я хотел только избежать неприятности провести ночь в тюрьме, потому что я уверен, что шпион, которому я дал дублон, сообщил мне правду.

– Завтра, – сказал я ему, – я пойду и поселюсь в другом месте; скажу вам однако, что вы правы в одном: я должен был оставить в моей комнате пистолеты и карабин.

– И вы должны сами там остаться. Я не верю, что вы настолько поддаетесь тревоге.

В тот момент, когда мы вели этот диспут, приходит мой хозяин, который говорит, что алькальд Месса с тридцатью сбирами заявился обследовать мое помещение, заставил слесаря открыть дверь, искал повсюду, он не знает, что, и затем, ничего не найдя, велел снова запереть, запечатал дверь и ушел, велел отвести в тюрьму моего пажа, который, согласно алькальду, должен был меня предупредить о его визите, потому что без этого я бы не скрылся у шевалье Менгса, куда он не может за мной прийти.

На этот рассказ Менгс согласился, что я не ошибся, поверив человеку, который меня известил о предстоящем, и сказал, что я должен завтра пойти поговорить с графом д'Аранда, и, между прочим, указать на несправедливость помещения в тюрьму моего пажа, который вообще невинен.

Менгс продолжил расспрашивать о моем якобы невинном паже.

– Мой паж, – сказал я ему обеспокоенным тоном, – должен быть мерзавец, потому что если алькальд предположил, что он виновен в том, что известил меня о его визите, значит алькальд знал, что он должен быть осведомлен о нем. Или, спрошу я вас, может ли мой паж не быть мерзавцем, если он об этом знал и не известил меня; и, спрошу я вас, может ли он это знать, не будучи сам доносчиком и шпионом, потому что, в конце концов, он был единственный, кто знал, где спрятано мое оружие.

Менгс, раздраженный тем, что вынужден был согласиться, оставил меня и пошел спать.

Назавтра рано утром великий Менгс отправил мне со своим лакеем рубашки, чулки, кальсоны, воротнички, платки, ароматные воды и пудру а ла марешаль. Его гувернантка принесла мне шоколаду и повар пришел спросить, имею ли я разрешение есть скоромное. Принц, в своей манере, указал гостю не покидать его дом, но частный человек, этими же способами, его выгонял. Я поблагодарил его за все, принял только шоколад и платок. Я велел себя причесать, моя коляска стояла у дверей; я зашел в комнату Менгса, чтобы пожелать ему доброго дня и поблагодарить его, заверив, что приду к нему только в случае, если окажусь свободен. В этот момент прибыл офицер и спросил у Менгса, находится ли у него шевалье де Казанова. Я ответил ему:

– Это я.

– Что ж, месье, я советую вам явиться со мной по доброй воле в кордегардию *Буонретиро*, где вы останетесь заключенным, потому что в настоящий момент я не могу использовать силу, поскольку этот дом принадлежит королю. Но я извещаю вас, что менее чем через час шевалье Менгс, здесь присутствующий, получит приказ выставить вас за дверь, и вы будете отконвоированы в тюрьму со скандалом, который вам весьма не понравится. Поэтому я советую вам пойти со мной, спокойно и без шума. Вы должны также передать мне огнестрельное оружие, которое вы имели в вашей комнате.

– Месье Менгс может отдать вам мое оружие, которое путешествует со мной уже одиннадцать лет, и которое я вожу для защиты от разбойников. Я выйду с вами, после того, как напишу четыре письма, что займет у меня не более получаса.

– Я не могу ни ждать, ни позволить вам писать; но вам позволят писать, когда вы будете в тюрьме.

– Этого достаточно. Я подчиняюсь, с покорностью, которую бы не проявил, если бы мог ответить силой на силу. Я вспомню об Испании, когда встречу в Европе приличных людей, равных мне, которые почувствуют соблазн попутешествовать здесь.

Я обнял шевалье Менгса, который имел удрученный вид, его лакей положил мое оружие в мою коляску, куда я поднялся вместе с военным офицером, капитаном, который имел вид и манеры вполне порядочного человека.

Он отвел меня во дворец «*Буон ретиро*». Это был замок, который королевская семья покинула. Он служил теперь только тюрьмой для тех, кого считали виновным, и его апартаменты стали камерами. Это туда Филипп V удалялся вместе с королевой на время поста, чтобы подготовиться к Пасхе.

Когда офицер меня оставил в кордегардии, где передал дежурному капитану, капрал отвел меня внутрь замка в обширную залу на первом этаже, которая служила тюрьмой для тех, кто там находился и кто не был солдатом. Я нашел там очень неприятное зловоние, двадцать пять-тридцать заключенных, десять-двенадцать солдат. Я увидел десять-двенадцать кроватей, очень широких, несколько скамей, ни одного стола, ни одного стула. Я попросил у солдата бумаги, перо и чернила, чтобы писать, дав ему экю, чтобы он все это купил и принес мне. Он взял, смеясь, экю, ушел и не вернулся. Те, к кому я вздумал обратиться за объяснениями, смеялись мне в лицо. Но меня поразило то, что между своими компаньонами я увидел моего пажа и графа Мараззани, который сказал мне по-итальянски, что он находится там уже три дня, и что он мне не писал, потому что имел сильное предчувствие, что увидит меня в своей компании. Он сказал мне, что менее чем через две недели нас заберут оттуда, чтобы направить под хорошим эскортом работать в какую-то крепость, где, однако, мы сможем писать наши объяснения и надеяться освободиться оттуда в три или четыре года, получив паспорт, чтобы покинуть Испанию.

– Я надеюсь, – сказал я ему, – что меня не осудят, прежде чем выслушать.

– Алькальд придет завтра и допросит вас, чтобы записать ваши ответы. Это все. Затем вас, возможно, отправят в Африку.

– Вас уже судили?

– Мной занимались вчера три часа подряд. Меня спрашивали, кто был тот банкир, который давал мне деньги на мое содержание. Я отвечал, что не знаю никакого банкира, что я жил, занимая деньги у друзей и ожидая все время положительного ответа на мое обращение или отказа в принятии в гвардию. Меня спросили, почему посол Пармы меня не знает, и я отвечал, что никогда ему не представлялся. Мне сказали, что без согласия посла Пармы я никогда не смогу быть принят в личную гвардию, и что я должен бы это знать, и поэтому алькальд сказал, что Е.В. мне поручит дело, которое я смогу выполнять, не нуждаясь ни в чем признании, и

ушел. Я предвижу все. Если посол Венеции вас не признает, с вами поступят как со всеми остальными.

Восприняв все, сглатывая горькую слюну и не сочтя разумным процедуру, которой мне угрожал Мараззани, я сидел на кровати, которую покинул три часа спустя, увидев, что она покрыта вшами, от одного вида которых станет плохо итальянцу и французу, но не испанцу, у которого эти малые неприятности вызовут лишь смех. Блохи, клопы и вши – это три вида насекомых, столь всеобщих в Испании, что они никого не смущают. На них смотрят, полагаю, как на нечто неизбежное. Я оставался недвижим, в глубоком молчании, впитывая всеобщее раздраженное настроение, окутывающее все вокруг и отравляющее мои жизненные токи. Здесь нечего было сказать, надо было писать, а мне не давали средств для этого. Я был вынужден ожидать того, что наверняка должно было случиться в двадцать четыре или в тридцать часов.

В полдень Мараззани сказал мне, что я могу заказать обед, дав денег солдату, которого он знает и гарантирует его честность, и что он охотно приготовит со мной хороший обед, потому что он три дня живет на хлебе, воде, масле и нищенском супе. Я ответил ему, что не хочу есть, и что я не дам более ни су никому, прежде чем солдат, которому я дал экую, не вернет его мне. Он пошумел насчет этого безобразия, которое является неприкрытым воровством, но ему смеялись в лицо. Мой паж обратился к нему, чтобы он попросил меня дать ему денег, поскольку он голоден и не имеет ни су; я сказал, чтобы он ему передал, что я не дам ему ничего, поскольку в тюрьме он больше не у меня на службе. Так что я увидел, что все мои сотоварищи кушают плохой суп и хлеб и пьют воду, кроме двух священников и человека, которого называли коррехидор, которые ели хорошо.

В три часа пришел слуга шевалье Менгса и принес мне обед, которого хватило бы на четверых. Он хотел оставить обед и вернуться вечером забрать блюда, принеся мне ужин, но в том дурном настроении, что я был, я не захотел оказаться в необходимости распределять то, что останется, ни канальям, чьим товарищем я оказался, ни солдатам. Я заставил слугу остаться там и ел и пил, бросая все на скамью; затем я сказал ему забрать домой все, что осталось, и возвратиться только завтра, так как я не хотел ужинать. Слуга повиновался, и каналы его осvistали. Мараззани сказал мне суровым тоном, что я мог бы, по крайней мере, оставить бутылку вина. Я ему не ответил.

В пять часов вошел очень грустный Мануччи с офицером стражи. После соболезнований с его стороны и благодарностей с моей, я спросил у офицера, не позволит ли он мне написать тем, кто может допустить меня оставаться в этой нужде лишь по незнанию, и, получив ответ, что у него есть строгое распоряжение ничего мне не позволять, спросил, разрешил ли он солдату, который получил от меня в восемь утра экую, чтобы купить мне бумаги, украсть у меня мои деньги и больше не показываться.

– Кто этот солдат?

Я спросил, и он также спрашивал понапрасну у всех его имя, и никто не знал, потому что стража сменилась. Офицер пообещал мне заставить вернуть мой экую и наказать солдата. После этого офицер приказал доставить мне все, что нужно для письма, стол и шандал, и Мануччи мне пообещал, что в восемь часов он направит мне человека в ливрее посла, чтобы забрать мои письма и отправить их тем, кому они будут адресованы, заверив, что посол потихоньку будет действовать в мою пользу, потому что в открытую, он полагает, это не получится. Прежде чем они ушли, я достал из кармана три экую и сказал канальям, что подарю эти три экую тому, кто назовет мне имя солдата, который украл у меня экую. Мараззани первый вызвался его назвать, двое других засвидетельствовали то же самое, и офицер, который знал его, записал его имя, посмеявшись и сказав, что даст мне знать. Я потратил три экую, чтобы вернуть один. Они ушли, и я стал писать. Терпение, которое я должен был ощущать, было невероятное. Стали читать то, что я писал, и когда не слышали, просили у меня объяснения. Подходили, чтобы снять мне нагар со свечи, и гасили ее мне. Я представлял себе, что я на галерах, и страдал,

жалел себя. Один солдат осмелился сказать мне, что если я хочу дать ему экую, он заставит всех замолчать, и я ему не ответил. Но, несмотря на всех этих проклятых, я закончил мои письма и запечатал их. В моих письмах не было ни капли искусства. Они дышали злобой, что бурлила в моей душе...

Я написал послу Мочениго, который по своему положению должен был защищать подданного своего государя, которого министры другой державы убивают, чтобы завладеть всем, что у него есть. Я заклинал его осознать, что он не может лишиться моей протекции, не зная, в сущности, в чем я мог нарушить законы Республики, потому что моя распря с Государственными Инквизиторами произошла лишь из-за того, что м-м Зорзи предпочла меня г-ну Кондульмеру, который, ревнуя к моему счастью, заставил забрать меня в Пьемонт.

Я писал г-ну Эммануэлю де Рода, человеку ученому, министру, ведающему помилованиями и правосудием, что я не желаю его помилования, но лишь правосудия.

«Послужите, монсеньор, Богу и вашему господину королю, помешав, чтобы алькальд Месса убил венецианца, который ничего не совершил против законов и который приехал в Испанию лишь полагая, что прибыл в страну, населенную благородными людьми, а не убийцами, пользующимися безнаказанностью, данной им в силу их должности. Человек, который вам пишет, имеет в своем кармане кошелек, наполненный дублонами, и заключен в зале, где его уже обокрали. Он боится, что его убьют этой ночью, чтобы украсть его кошелек и все, что у него есть».

Я написал герцогу де Лосада, чтобы он оповестил короля, своего владыку, что убивают, без его ведома, но от его имени венецианца, который не преступал никакого закона, чей недостаток состоит лишь в том, что он достаточно богат, чтобы ни в ком не нуждаться, находясь в Испании. Я представлял ему, что он должен просить короля немедленно отправить указ, чтобы помешать этому убийству.

Самое сильное из четырех писем было то, что я написал графу д'Аранда. Я сказал ему, что если они окончат тем, что меня убьют, я пойму, перед тем, как испустить дух, что это по прямому его приказу, потому что я понапрасну говорил офицеру, который меня арестовал, что я явился в Мадрид с письмом принцессы, которая рекомендовала меня им ему.

«Я ничего не сделал, говорил я ему. Какое неудобство я вам причинил, если вы ввергли меня в этот ад, на эти мучения, что я сейчас испытываю? Либо освободите меня сразу, либо прикажите своим палачам немедленно меня выслать, потому что если они вздумают отправить меня в тюрьму, я прежде убью себя собственной рукой».

Сохранив копии моих писем, я отослал их через лакея посла, которого всемогущий Мануччи не замедлил ко мне направить. Но я провел самую жестокую из ночей. Кровати были расставлены, и, тем не менее, я не хотел на них спать. Я напрасно просил соломы, но когда, тем не менее, мне ее принесли, я не знал, куда ее положить. Пол был залит мочой, потому что ни у кого, кроме двух или трех, не было комнатного горшка. Горя гневом, я не хотел потратить и оболы чтобы обеспечить себе хоть какую-то мягкую постель, что сразу бы рассердило этих каналов, которым я дал три экую, чтобы дать офицеру имя солдата-вора. Я провел ночь, сидя на лавке без спинки.

В семь часов утра вошел Мануччи. Я сразу попросил его проводить меня в кордегардию, вместе с офицером, чтобы сделать кое-что, потому что чувствовал, что умираю; это было сделано мгновенно. Я выпил шоколаду и дал им расчесать мне волосы, рассказывая про мои страдания. Мануччи сказал, что мои письма могут быть отправлены по адресам только в течение дня; и сказал мне, смеясь, что я написал послу жестокое письмо. Я показал ему копии остальных, и молодой неопытный человек сказал мне, что стиль, направленный на то, чтобы обрести милость, должен быть исполнен нежности. Он не знал, что бывают ситуации, когда человеку абсолютно невозможно прибегать к нежности. Мануччи сказал мне на ухо, что посол обедает нынче у графа д'Аранда, и что он ему предложил поговорить частным образом с ним в

мою пользу; но он побоялся, что мое суровое письмо разозлит испанца. Я убедил его не говорить о моем письме послу.

Час спустя после его ухода, в тот момент, когда я, сидя среди каналов, отвечал на бесцеремонности, что мне говорили по поводу моего высокомерия, которое шокировало всю компанию, я вижу донну Игнасию в сопровождении благородного сапожника, своего отца, которые входят вместе с бравым капитаном, который доставил мне столько удовольствия. Этот визит ранил мне душу, но следовало принять его с хорошей стороны и с благодарностью, потому что речь шла о достоинстве, величии, порядочности и гуманизме со стороны благородного человека и влюбленной богомолки донны Игнасии. Хотя и грустно и на очень плохом испанском, я дал им понять, насколько я чувствителен к чести, которую они мне оказывают. Донна Игнасия не сказала ни слова; у нее было только это средство помешать слезам катиться из ее прекрасных глаз; но все красноречие дона Диего было использовано, чтобы сказать мне, что он бы никогда не пришел меня повидать, если бы не был абсолютно уверен, что это ошибка, либо какая-то ужасная клевета из тех, что вводят ненадолго в заблуждение судей. Отсюда он выводил заключение, что в немного дней меня освободят из этого ужасного места и дадут удовлетворение, пропорциональное оскорблению, которое мне нанесли. Я ответил ему, что я на это надеюсь; но что меня поразило, и что запало мне в душу, было то, что сделал этот очень бедный человек, уходя и обняв меня на прощанье: он оставил в моих руках сверток, сказав мне на ухо, что там двенадцать дублонов *да охо*, которые я ему отдам, когда смогу. Мои волосы стали дыбом. Я сказал ему на ухо, что у меня в кармане есть пятьдесят, которые я не могу ему показать, так как боюсь воров, что меня окружают. Он вернул свой сверток в карман и заплакал. Я пообещал ему явиться с визитом, как только окажусь на свободе. Он ушел.; он не назвал себя. Он был хорошо одет, его приняли за человека обеспеченного. Характеры, подобные этому, не редки в Испании. Прекрасные и героические поступки – конек кастильцев.

Слуга Менгса пришел в полдень с обедом, более тонким и менее объемистым; это было то, чего я хотел. Я поел в его присутствии за полчаса, и он ушел, нагруженный моими благодарностями в адрес его хозяина. В час пришел человек и сказал мне идти вместе с ним. Он отвел меня в маленькую комнату, где я увидел мой карабин и мои пистолеты. Алькальд Месса, сидя за столом, заваленным тетрадами, с двумя сбирями, сказал мне сесть, затем приказал ответить честно на все его вопросы, потому что мои ответы будут записаны. Я ответил ему, что понимаю испанский очень плохо и буду отвечать только письменно человеку, который будет допрашивать меня по-итальянски, по-французски или на латыни. Этот ответ, сказанный твердым тоном, его удивил. Он разговаривал со мной час подряд, я понимал все, что он мне говорил, но он получал в ответ только одну фразу:

– Я не понимаю, что вы мне говорите. Найдите судью, который знает один из моих языков, и тогда я буду отвечать; но я не буду диктовать; я буду писать сам мои ответы. Он стал злиться, я не обращал внимания на его вспышки. Он дал мне, наконец, перо и сказал написать по-итальянски мое имя, мое звание, и что я собирался делать в Испании. Я не смог отказать ему в этом, но написал только двадцать строк:

«Я такой-то, подданный республики Венеции, писатель, довольно богат; я путешествую для собственного удовольствия; я известен послу моей родины, графу д'Аранда, принцу де ла Католика, маркизу де Морас, герцогу де Лосада; я не нарушил ни одного из законов Е.Кат. В., и, несмотря на это, я оказался схвачен и помещен среди злодеев и воров чиновниками, которые заслуживают быть наказаны гораздо суровее, чем я. Если я ничего не сделал противного законам, Е.Кат. В. должен знать, что у него нет другого права надо мной, кроме как приказать мне уехать из его владений, и я сразу же повинуюсь, как только получу приказ. Мое оружие, что я здесь вижу, путешествует со мной уже одиннадцать лет, я вожу его только, чтобы

защититься от воров с большой дороги, и в воротах Алькала его видели в моей коляске и не конфисковали, что означает, что теперь, когда его у меня конфискуют, это только предлог, чтобы меня преследовать».

Написав это, я отдал бумагу алькальду, который отправил, чтобы нашли ему того, кто сможет точно изложить ему это по-испански. Алькальд поднялся, посмотрел на меня глазами, полными угрозы, и сказал:

«Клянусь Богом, вы пожалеете, что написали эту бумагу».

Сказав это, он велел отвести меня в ту же залу и вышел.

В восемь часов пришел Мануччи и сказал, что граф д'Аранда первый спросил посла, знает ли он меня, и что посол наговорил ему все хорошее обо мне, закончив заверением, что он не смог оказать мне полезен лишь из-за оскорбления, которое возникло по причине того, что я впал в немилость у Государственных Инквизиторов. Граф д'Аранда ответил, что действительно мне было нанесено большое оскорбление, но оно не таково, чтобы терять рассудок умному человеку.

– Я бы ничего не знал, – сказал он, – если бы он не написал мне яростное письмо, и он написал в том же духе и дону Эммануэль де Рода и герцогу де Лосада. Он прав, но так не пишут.

Вот все, что он ему сказал.

– Так что мое дело, очевидно, закончено, если он действительно сказал, что я прав.

– Будьте уверены, что он так сказал.

– Если он так сказал, он так и сделает, а что касается моих писем, у каждого свой стиль.

Я пришел в ярость, потому что со мной обошлись, как с собакой; взгляните на эту комнату, у меня нет кровати, и поскольку весь пол залит мочой, я не могу на нем спать; я проведу вторую ночь, сидя на скамье без спинки. Вам кажется возможным, чтобы мне не пришло желание съесть сердце у всех этих палачей? Если я не выйду завтра из этого ада, либо я себя убью, либо сойду с ума.

Мануччи понял, что я в ярости; он пообещал мне прийти завтра рано утром и посоветовал обеспечить мне кровать с помощью денег. Я не захотел последовать его совету. Меня мучили блохи, и я опасался за свой кошелек, мои часы, мою табакерку и все, что я имел. Я провел ужасную ночь, я дремал на той же скамье, внезапно просыпаясь каждый момент, теряя равновесие и почти падая на пол, загаженный нечистотами.

Мануччи пришел в восемь часов, и я видел, что он действительно поражен моим лицом. Он прибыл на коляске, привез с собой хороший шоколад, который дал разогреть, и который я выпил с удовольствием, что придало мне немного храбрости. Но вот открывается дверь, и входит офицер, в сопровождении двух других. Первый спрашивает меня; я подхожу к нему, говоря, что это я.

– Его Превосходительство граф д'Аранда, – говорит он мне, – здесь снаружи, пораженный несчастьем, что случилось с вами. Он узнал о нем вчера из письма, что вы ему написали. Если бы вы написали ему сразу, с вами бы ничего не случилось.

Я рассказал ему историю о солдате, который украл у меня экю. Он спросил, кто это, и когда был проинформирован обо всем, он велел вызвать капитана и устроил ему выговор, заставил отдать мне экю, который я со смехом принял, и найти солдата, чтобы его публично палили палками в моем присутствии. Этот офицер был г-н де Руайя, полковник полка, стоящего в Буон Ретиро. Я описал ему в деталях всю историю моего ареста и все страдания, что я вытерпел в этом проклятом месте, куда меня поместили. Я сказал ему, что если мне не вернут свободу, мое оружие и мое благополучие сегодня же, я покончу с собой либо сойду с ума, потому что человеку нужно поспать раз в день, а я не могу здесь лечь ни на кровати, ни на земле, из-за нечистот, которые он бы увидел, если бы прибыл на час раньше.

Я увидел, что этот славный человек поражен яростью, с которой я с ним говорю. Увидев это, я попросил у него прощения, заверив, что если бы не гнев, овладевший мной, я вел бы себя с ним иначе. Мануччи сказал ему о том, каков я по природе, и полковник меня пожалел. Он вздохнул и дал мне слово чести, что я выйду оттуда в течение дня, что мне вернут мое оружие и что я буду спать в своей постели.

Теперь пойдите, – сказал он мне, – пойдите поблагодарить графа д'Аранда, который срочно прибыл сюда и приказал мне прийти сказать вам, что вы вернетесь к себе только после обеда, так как Его Превосходительство желает, чтобы вы получили сатисфакцию, достаточную для того, чтобы вернуть вам спокойствие и заставить забыть эту обиду, если она у вас есть, потому что наказания со стороны правосудия никого не обижают, и алькальд Месса был обманут мерзавцем, который состоял у вас на службе.

– Вот он, – говорю я ему. Прошу вас, пожалуйста, выведите его отсюда, теперь все знают, что он чудовище.

– Сейчас.

Он выходит, и две минуты спустя пришли два солдата взять его, и я его больше не видел. Я никогда не интересовался, что стало с этим несчастным. Затем офицер пригласил меня в кордегардию, где я наблюдал наказание палками, которое назначили солдату-вору. Мануччи был со мной. Я увидел графа д'Аранда, в сорока шагах от меня, который прохаживался, сопровождаемый группой офицеров и личной гвардией короля. Все это заняло у нас около двух с половиной часов. Полковник, перед тем, как меня покинуть, просил меня прийти к нему пообедать вместе с Менгсом, когда он нас пригласит. Я должен был вернуться в залу, где увидел на полу покрывало, на вид чистое. Младший офицер сказал мне, что приставлен для моих услуг, и я сразу же лег, но Мануччи, прежде чем меня оставить, обнял меня сотню раз. Я убедился в его настоящей дружбе, и я чувствую себя всегда огорченным, когда думаю, что виноват перед ним, так что я не удивляюсь, что он меня так никогда и не простил. Читатель увидит, однако, что этот мальчик простер свое отмщение слишком далеко.

После этой сцены канальи, что там находились, не смели на меня и посмотреть. Мараззани пришел к моей кровати, чтобы мне представиться, но я не обратил на него внимания. Я сказал ему, что в Испании мужчина-иностранец должен много работать, чтобы обеспечить себя. Мне принесли обед, как обычно, в три часа, пришел алькальд Месса и сказал, чтобы я шел с ним, потому что, будучи неправ, он получил приказ отвезти меня в мои апартаменты, где, он надеется, я найду все, что там оставил. В то же время он показал мне мой карабин и мои пистолеты, которые он передал одному из своих людей, чтобы тот отнес все это в мою комнату. Офицер стражи вернул мне мою шпагу, алькальд в черном плаще стал слева от меня и, сопровождаемый тридцатью сбирами, проводил меня в кафе на «Кале де ла Круз», где снял печать, что была на двери моей комнаты, хозяин пришел ее открыть и я легко мог сказать алькальду, что все в том же состоянии, в каком я его оставил. Он сказал мне мимоходом, что если бы я не нанял себе на службу предателя, мне бы никогда не пришлось думать, что служащие Е.Кат. В. убийцы.

– Гнев, месье алькальд, заставил меня написать это четырем министрам. Я так думал, но больше так не считаю. Забудем все; но согласитесь, что если бы я это не написал, вы бы отправили меня на галеры.

– Увы! Это может быть.

Я выкупался и сменил все; я отправился, скорее по долгу, чем из-за любви, к действительно благородному сапожнику, который, при виде меня, объявил себя счастливейшим из людей, и самым дальновидным, потому что он был уверен, что все это произошло по ошибке; но донна Игнасия была вне себя от радости, потому что у нее не было такой уверенности, как у ее отца. Когда он узнал о некоторого рода сатисфакции, что мне дали, он сказал, что и гранд Испании не мог бы требовать большего. Я просил их прийти ко мне как-нибудь пообедать,

когда я дам им об этом знать, и они пообещали это. Во мне возродились чувства, я ощутил себя влюбленным в донну Игнасию гораздо больше, чем раньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.